

Одевается рассеянно, почти не слыша маминых напутствий. В голове — только песня. Выходит из квартиры, бежит вниз и к третьему этажу пробует тихонько напевать:

*Под небом голубым есть город золотой
С прозрачными воротами и ясною звездой...*

На своем, пятом, может услышать мама, она долго закрывает оба замка. Почему-то не хочется, чтобы мама слышала. А на четвертом вечно недовольная Нина Анатольевна часто высовывается из своей пахнущей тушеной капустой квартиры, даже если просто громко топашь на лест-

нице. Недовольно фыркнет и захлопнет дверь – это еще ладно. Самое неприятное – если начнет крикливо ругать, да еще и с обзывательствами: «обезьяна» там или непонятное «шантрапа». Тогда слова летят и больно впиваются куда-то глубоко внутрь, хочется поскорее убежать, а потом все равно еще несколько минут мучиться дурацким удушливым: ох, ну почему, почему это со мной!

*...А в городе том сад, все травы да цветы,
Гуляют там животные невиданной красы...*

На этой неделе, пока с ангиной не надо было ходить в школу, мама каждый день ложилась по вечерам рядом. За это болеть нравилось еще больше. В какой-то момент мама предложила спеть про золотой город. А потом вспомнила и другие песни. Но все они были совсем не такие, как по радио или на папиных кассетах с улыбающимися женщинами на вкладыше. Мотив, слова – от них что-то сильно и сладко сжималось и закручивалось в районе солнечного сплетения, пока мама пела, и становилось даже страшновато – может, это какая-нибудь болезнь? Но спрашивать почему-то было очень стыдно.

От маминых песен не только в солнечном сплетении происходило что-то странное. Тело становилось одновременно очень большим, не влезающим в космос – и в то же время крохотным настолько, что до мамы, лежащей рядом, пролегали тысячи и тысячи световых лет. Потом комната начинала светиться – прозрачно и золотисто. Свет сперва просто возникал в голове, как если про него читать, а после разливался прямо перед открытыми глазами, струился и смешивался с температурным жаром (под вечер опять 39, да что такое), растекался горячим медом по комнате. От этого она переставала быть привычной комнатой в четыре стены (раз – темно-красный узорчатый ковер над кроватью, два – глыбы шкафов и стол между ними, три – зашторенное окно и четыре – дверь) и виделась, как в первый раз. Было так же волнительно, как когда приезжали к прабабушке в деревню, и в первые дни долго-долго не получалось уснуть за разглядыванием стен и потолка. Но там комната и правда была незнакомая. А тут...

Стены и потолок становились полупрозрачными, раздвигались сразу и вширь, и вверх, в подсвеченных золотом углах начинали копошиться тени – тихие, совсем нестрашные. Это было приятно и немного мучительно, будто что-то непременно нужно с этим сделать, словно что-то тихонько *звало*, а куда и зачем – не разобрать, но и противиться *зову* было невозможно.

После золотого города была еще песня про шевалье Д'Артаньяна, который целовал алые губы Констанции – на этом месте, правда, немно-

го хотелось зарыться под подушку от смущения и вылезти, только когда граф Монте-Кристо уже начнет копать подземный ход. Про бухту, где отважный Грей нашел свою Ассоль, светло-голубая мелодия с белыми прожилками соли и алым отсветом... Это помнилось точно, а остальные песни растворялись в начинавшем завихряться полусне, и оставался только золотой *зов*, а слова и смыслы стирались.

Был ли *зов* раньше? Не вспомнить, хотя ощущение казалось смутно знакомым. Оно мучило, потому что непонятно было, что делать. Идея пришла, когда температура, наконец, спала, и горло почти не болело, но участковая пока еще велела посидеть дома пару дней. Идея заключалась в следующем: в школу с этой стороны района все идут по одной дороге, и если идти среди них и петь мамины песни, то вдруг кто-то... Тут мысль слабела, затухала; кто-то – что? Разберемся: легко ускользала, уносила к мирным домашним играм. В школе тоже можно было бы попеть – опять возвращалась к вечеру – но там нервно, душно и влажно, особенно на первом этаже, где все разуваются, и растаявший грязный снег капает на скользкие плиты пола, и каждый раз целая толпа в коридоре – бегают туда-сюда, поскользываются, спотыкаются, и ох, скоро же снова туда возвращаться...

*...Одно – как желтый огнегривый лев,
Другое – вол, исполненный очей...*

Начинать петь, конечно, лучше в подъезде, чтобы чуть-чуть привыкнуть и на улице уже не было так страшно. Слова разносятся по пустому подъезду звучно, гулко, с эхом отскакивают от стен, крашенных зеленой краской до середины – а потом выбегают на улицу и теряют половину своей силы. Голос кажется слабым и куцым, дневного воздуха вокруг так много, и он такой упругий, что осилить его и допеться до чего-то нужного кажется невозможным.

А еще почему-то все, кто тоже идет в школу, начинают оглядываться и хихикать, а кто-то даже передразнивает.

*...С ними золотой орел небесный,
Чей так светел взор незабываемый...*

И становится удушливо, так же, как когда кричит Нина Анатольевна. Хочется развернуться и забежать обратно в подъезд, перемочься, пропустить всех и потом уже пойти по дороге одной. Но нельзя, нельзя, иначе можно опоздать – приходится замолкнуть и быстро идти вперед, опустив лицо с горячими щеками. И *зов* отступает, остается в золотистой комнате,

где нечего стесняться, кроме алых губ Констанции, и не о чем беспокоиться. Ох, как сложно снова идти в школу после блаженных домашних деньков, но надо, надо ковылять, неотрывно глядя вниз, на некрасивые валенки с вышитыми снежинками; вот уже спортивное поле, огороженное сеткой и заваленное снегом, а за ним – школа. Пришли.

А в школе – столько дел надо переделать, столько разных непонятных дел до самого вечера. А если не делать, то учительница обязательно бросит замечание, не как Нина Анатольевна, но по-своему обидно, и снова превозмогать вот это вот... Нет уж, лучше сидеть смиренно и делать все, как надо.

Тем более, рядом Тимур, с ним все как-то спокойнее и понятнее.

Глаза видят остро, и поэтому в начале года посадили за последнюю парту. Туда надо идти через весь класс, стараясь особо никого не разглядывать. Соседки сегодня нет, и поэтому Тимур садится рядом. Первый урок – окружающий мир, и пока учительница рассказывает что-то про птиц далеко-далеко, в своем мире у доски, они вместе от скуки тихонечко разглядывают картинки в учебнике и читают все подряд. Это, кажется, мало кто умеет толком. Многие в классе читают по слогам, с трудом. Непонятно: это же очень сложно – склеивать буквы в слоги, а их – в слова. Проще мгновенно пробежаться по строчке – не по буквам даже или слогам, а сразу по тому, что за ними.

Еще несколько уроков, считают они вместе, и можно будет идти домой. А там – ох, там тетради и прописи, от которых совсем отвыкла за неделю, а еще мама опять спросит: познакомилась с кем-нибудь? Подружилась? Между делом так спросит, но почему-то каждый раз становится неприятно. Зачем еще с кем-то знакомиться и дружить, если уже есть Тимур. Или все-таки надо? Тихонько рассказывает ему об этом, не поворачивая головы, чтобы учительница не заметила, и тот пожимает плечами: *смотри сама, как хочешь*. То ли слегка обиделся, то ли не хочет отвлекаться.

Читать и слушать про птиц окончательно становится неинтересно, все это давным-давно рассказал папа, и снова вспоминается песня и зов. Но теперь уже совсем нелепо, как выдумка. Вот класс, даже слишком светлый сегодня (шторы сняли в стирку, и белые проемы окон режут глаз) и полный детей. Вот учительница у доски, вот учебники, тетради и пенал строго «на уголке стола», непривычная еще сегодня, с болезни, но привычная уже за три месяца картина, и кажется глупостью, что недавно еще могло растекаться вокруг что-то томительное и золотистое. Лучше думать о том, как папа скоро приедет из командировки и привезет дневник для анкет, с гладкой цветной обложкой, как у многих девочек в классе. Туда

можно будет вписать свою анкету и Тимура, а потом... Потом придется все-таки с кем-нибудь подружиться, чтобы заполнить остальные листы. Да и вправду уже как-то неловко сидеть вдвоем с Тимуром на переменах – в классе или в закутке под лестницей...

Так проходят дни, долгие-долгие.

* * *

У Гали пиджак и юбка смешного болотного цвета, а у Тани – темно-голубые. У Гали короткие волосы, до шеи, а у Тани – до поясницы. Они сидят впереди и наискосок, на втором ряду, ходят постоянно вместе и, кажется, ни с кем больше особенно не разговаривают. Говорят, они вместе были в садике. Так в классе много кто дружит – «по садику». Или «по двору».

Садик никогда толком не вспоминается. Мама рассказывала, что уходила утром из группы от безутешных слез и вечером возвращалась к ним же. Ангины тоже не дремали. Сколько было садика в жизни? Неделя? Две? А вот дворов – очень много. Мама с папой все переезжали и переезжали, пока, наконец, летом не купили нынешнюю квартиру на пятом этаже: *через два месяца школа, хватит уже мыкаться!* Да только зачем нужен двор, пусть теперь и постоянный, если можно было уйти с папой в сквер – кататься на велосипеде или с мамой в лес за городом – играть в бадминтон. Можно было пойти к бабушке через несколько улиц и смешивать у нее на кухне разные травы из кухонной тумбочки – готовить «зелья», а можно – к дедушке, который поведет в парк... В общем, не до двора, и бог его знает, кто там живет.

...Итак, Галя и Таня не хихикают на переменах с остальными девочками, они всегда сами по себе. Это значит, к ним проще подойти, чем к тем, кто постоянно собирает вокруг себя большую компанию. Вот уже несколько дней говорит себе: сегодня точно, сегодня точно! – и все никак не может улучшить удобный момент, чтобы попроситься дружить. Но вот он наконец наступает. Во вторник, пока у остальных заканчивается физкультура, приходится поливать цветы в кабинете – плата за освобождение от беганья и прыганья на три недели. После звонка Галя и Таня входят в класс первыми, больше никого нет, и так быстро все случается: отставить пластиковую лейку, подойти, немножко споткнувшись одной серебрястой туфелькой-сменкой о другую, и быстро выпалить:

– Будете со мной дружить?

Слова приходят сразу, вот так: «Будете со мной дружить?» – не «давайте...», не «можно с вами...».

И поднимается по телу от самых пяток горячая волна – страшно

становится от собственной наглости.

А Галя и Таня, кажется, даже не удивляются: не переглядываясь, кивают и вразнобой говорят:

– Да.

– Будем.

Всю перемену они проводят вместе, делят два стула на троих за таниной-галиной партой. Рассматривают у Тани анкеты девочек с ее двора (анкет мало, потому что почти никто не умеет писать – и это тоже удивительно), потом Таня дает заполнить страничку. А после звонка, когда приходится пойти за свою парту, приходит недоумение.

Подруги. Вот так просто.

На следующей перемене оказывается, что это накладывает некоторые обязательства – впрочем, приятные. Галя и Таня подходят и, взяв под руки, ведут в коридор. У них – резиночка, и третий человек просто необходим. Тимур (незаметно ищет глазами) бегаёт с мальчишками – кажется, решил не мешать новой дружбе, но вроде бы не обижается.

Но и после резиночки ничего не заканчивается – они переглядываются на уроках, вместе выходят из школы и кидаются по дороге снежками, и на следующий день снова оказываются вместе, и потом – тоже. Время становится плотнее, перемены заполняются играми и придумками, а уроки – чувством плеча и новыми размышлениями. Думается: какое странное чувство, Тане и Гале приходится как бы отдать по кусочку от себя, а на освободившееся место вставить их кусочки.

– Пойдемте, зайдем ко мне! – зовет как-то Таня, когда они переобуваются после уроков на низеньких лавках в холле. – У меня есть *покорм*. Быстренько поедим, и потом сразу пойдете домой, ваши мамы даже не заметят.

Ужасно страшно становится, потому что если задержаться из школы... Ох, тогда мама, которая ложится рядом, если ангина, и поет песни, может обернуться во Вторую маму.

Мамы, сколько помнилось, всегда было две. Первая постоянно шутила, говорила всякие смешные глупости и обнимала. Особенно в последние три месяца, как началась школа, – за «солнышки» в тетрадах. По выходным на завтрак готовила вкусную запеканку из творога, и ей можно было рассказывать все, и дурачиться вместе. Но иногда приходила с работы (или выходила из кухни после ссор с папой) Мама Вторая – она говорила, словно прижимала голову к столу и давила, – зло, нудно, придирчиво. И та удушливость, которая мучила, когда кричала Нина Анатольевна или – совсем редко – учительница, выкручивалась на максимум, как ручка-крутилка у магнитофона. Не получалось в такие моменты

помнить себя, а хотелось только получить все-все «солнышки» на свете, вытереть всю-всю пыль в доме, только чтобы эта мама ушла, а вернулась Первая.

И вот поход за *покормом* грозит обернуться целым вечером в квартире со Второй Мамой.

А еще, еще так стыдно: непонятно, что такое *покорм*, но спросить нельзя. Это явно что-то такое, о чем знают все. Какая-то еда? Может, не расслышала? Почему еда называется, как будто это корм для животных? Придется разобраться на месте, хоть и неприятно.

Холодно и неудобно идти к Тане. Школьная вторая смена заканчивается в половину пятого, и в это время на улице уже темно – конец ноября. Вот родной дом, но к Тане нужно пройти еще немного ниже по улице, почти до магазина «ПервакЪ». Рука, на которой коричневые часики с Карлсоном, все время взлетает к глазам, почти не слышатся за паникой разговоров девочек, а потом еще – долгие-долгие минуты в Таниной темной прихожей, пока она ищет *покорм* на кухне. Есть его вышли на улицу, чтобы не мешать Таниному папе работать – он сидит дома за какими-то чертежами. К тому времени состояние уже близко к обмороку от волнения за время, и *покорм* толком не распробуется – чуть соленые шарики, похожие на пенопластовые, и с какими-то коричневыми вкраплениями, которые застревают в зубах. Дожевывает, благодарит и, почти не слушая прощаний, бежит в сторону дома.

...Звонила в дверь, зажмурившись, вжимаясь в синтепон куртки, доставая подбородком почти до желто-синего смешного зайца на груди, а когда мама открыла – распахнула глаза навстречу, ожидая увидеть то самое нелюбимое лицо. Но это все-таки была Первая Мама. Она хоть и не была очень веселой, как в выходные, только мимоходом спросила, где была, и позвала быстренько мыть руки и идти за стол. А там, услышав про Таню и Галю, одобрительно улыбнулась и с интересом стала расспрашивать.

Пенопластовые шарики, оказалось, называются «попкорн». Мама их никогда раньше не покупала, потому что можно засорить желудок. «Надеюсь, ты несильно много съела?.. Ну ладно».

Все оказалось так просто. И от этого – страшно. Как теперь все успеть, когда другие уже почти все умеют и знают?.. Нужно было спешить, наверстывать упущенное. Возможности открывались невероятные.

* * *

А раз так, можно было посмотреть, например... Ну, на Руслана. Руся, может, был не самым красивым мальчиком в классе. Но он

единственный никогда не задевал девочек, не обзывался и не ставил подножки. И уж тем более не трогал косы и хвосты. Это было странно и как-то... взросло? Когда на трудах сказали слепить или нарисовать какие-нибудь подарки друг другу, чтобы лучше познакомиться, Русе выпало делать подарок одной девочке с первой парты. Он, было видно, хорошо постарался и нарисовал ей самую красивую открытку в классе. Ни раньше, ни потом не замечалось, чтобы он проявлял к ней внимание. Просто Руся всегда делал все хорошо и честно.

С ним даже не пришлось применять волшебную формулу («*Будешь со мной дружить?*»). Все произошло само.

Стоило только начать думать о Русе, как их внезапно столкнул кружок по рисованию. Туда не так давно записала мама (приходить в школу по вторникам и четвергам не к часу, а к двенадцати, приносить отдельный альбом и краски с кисточками), а Руся ходил еще с сентября (записали в первый класс и сразу же в кружок). Просто как-то раз вместе с ним – случайно – вместе вышли из кабинета-для-кружков и вместе зашли в свой класс. Перемены прошли как обычно, с Таней и Галей, но когда выходили из школы, Руся пошел рядом и стал болтать, а потом предложил сыграть в фишки с покемонами. И так приятно оказалось видеть, что предложение явно только во вторую очередь относилось к Тане и Гале!

Перемены теперь порой приходилось делить между девочками и Русей. Вчетвером было неплохо, но иногда хотелось разного. С Таней и Галей – поиграть в резиночку, посплетничать о школьной жизни, походить вместе около кабинета, где учился четвертый класс. Там был мальчик, который понравился Гале, и хотя бы раз в день нужно было обязательно пройти мимо. Не в одиночку же Галя будет это делать. А с Русей обычно играли в фишки, а еще много разговаривали, сидя на корточках у круглой и длинной батареи в коридоре. И разговоры были такие... Взрослые. Кем родители работают? Что делать, когда школа закончится? А сложно, как думаешь, перейти в другую школу? Да нет, просто интересно, вот у меня сестра... А у меня никого нет, ни брата, ни сестры... А хочешь кого-нибудь? А если родится, что тогда?..

Двор, наконец, стал освоенным пространством. Оказалось, у Руси там живут знакомые – те самые, «по садику». Сам он жил далековато, даже дальше бабушки и дедушки. К нему во двор ни Первая, ни тем более уж Вторая мама ходить не разрешали. Русе было можно почти везде, и он приходил к своим друзьям, а заодно кричал под балконом, и мама (если это была Первая) отпускала, в зависимости от погоды, на полчаса или час. С компанией Руси не получалось много разговаривать, как с ним самим, но зато все вместе играли в фишки. Правда, недолго: они начинали размя-

кать от снега. Тогда начинали строить снежные дома или придумывали еще что-то, пока часики с Карлсоном не показывали, что время прошло и надо бы возвращаться домой.

В кружок продолжали ходить вместе: даже стали встречаться на полпути, где Руся сворачивал с улицы Лермонтова к школе. Рисование нравилось все больше: приятно, когда все получается, недаром столько фломастеров было изрисовано вместо походов в садик. А еще на кружке не запрещалось разговаривать, в отличие от уроков. Обычно час пролетал в болтовне, пока руки были заняты.

Каждый раз учительница объявляла новую тему занятия. Иногда это было что-то интересное, «на фантазию» – нарисовать выдуманное животное или звездолет. А иногда половину занятия приходилось слушать, например, про гжель, и вторую половину – расписывать синим цветом какую-нибудь тарелку, вырезанную из картона.

Сегодняшняя тема была «на фантазию», и название темы прозвучало, только они совсем не расслышали: зашептались (нужно все-таки говорить шепотом, если одновременно с учительницей), и пришлось извиниться и переспросить (ведущая кружка была совсем не злая и никогда не делала замечаний, от которых перекручивало, и уж тем более не кричала), и она повторила:

– *Золотой город.*

Руся перестал существовать, разговор забылся: все сразу всколыхнулось внутри, голова взлетела вверх, взгляд просительно искал взгляд. Неужели учительница *знала*? Неужели правда знала про *зов*, который совсем уже было забылся, потерялся в дворовых играх, болтовне, домашке с прописями и рабочими тетрадями и разных других делах? Учительница отвернулась, и взгляды так и не встретились. Оглянулась: Тимур сидел поодаль и тоже что-то рисовал. В последнее время и он забылся тоже... Тимур взгляд поймал (еще бы!) и ободряюще улыбнулся. Только он, только он знал про *зов*, а больше – никто.

Болтать с Русей расхотелось. Нужно было придумать, как нарисовать золотой город, *золотой зов* так, чтобы дать понять учительнице... Что?

Но Русе-то болтать не расхотелось. Сначала он легонько подпикивал локтем, пока сидела, расплываясь в обволакивающем золотистом. Потом спросил прямо: «Ты чего?» и как-то так потрогал за руку, что решение пришло.

Но – чуть позже, позже, сейчас главное – взять сперва карандаш и быстро-быстро рисовать по бокам листа огромные, кривые от волнения прямоугольники-двери с разными завитушечными узорами. Оставшийся

лист разделить линией горизонта на две части: и в верхней – начертить пятиконечные звезды в небе (давно научилась рисовать, не отрывая руку). В нижней же – набросать льва с гривой в пол-листа и орла (вышел совсем маленьким и толстым, но ничего), а ближе к горизонту – башни и домики. Что такое «волисполненныйочей» – не очень понятно, поэтому обойдется без него (хоть бы и без него было все ясно!). А между башнями и домиками прочертить две полосы – дорога в сад. Как рисуется сад?! Возле линии горизонта появляются мороженки, но на самом деле это кусты, просто неясно, как изобразить лучше. Между мороженками – деревья, чтобы было понятно (в саду же растут и деревья, и кусты?) Потом взять краски, особенно много желтого, и, выдохнув (все успеет, точно!), начать рассказывать Руся, уже давно требующему внимания, про *зов*.

Руся слушал, теребя ластик. Когда рассказ закончился, оказалось, что занятие уже подходит к концу. Докрашивать льва и кусты пришлось судорожно, злясь на расплывающиеся по листу краски. Руся так толком ничего и не нарисовал («что-то не знаю, чего интересного придумать»). Цвета смешивались и грязнились, но золото все же сияло по всему листу, и казалось, что учительница обязательно все поймет. Она, кстати, уже несколько раз просила заканчивать, но они делали умильные глаза, выпрашивая еще минутку, и та легко отступала.

А Руся, дослушав рассказ, сначала засмеялся, а потом сказал что-то совсем неважное и стал складывать альбом и кисточки и торопить на урок.

...И первый раз так хотелось обидеться, так страшно хотелось не просто убежать, вжаться в самую себя и не быть, а распахнуться, как в два года; прекрасно помнит: мама тогда вдруг не купила шоколадку, и тело как-то само полетело на пол ногами вверх, а рот открылся в писклявом крике, пронзительном, настойчивом – не то, что тот куцый хвост, как когда хотелось петь про золотой город, выйдя из подъезда. И сделать так хотелось только для того, чтобы Руся признал свою вину, может, даже немножко обнял, оторопел и спеша извиниться (это, конечно, совсем не для дружбы мальчика и девочки, но сейчас, когда разрывала обида, все хотелось сделать более реальным, чем она).

А потом, когда обида чуть-чуть отпускает, то самое мерзкое и удушливое накатывает с такой силой, что с трудом получается схватить рюкзак и выбежать в коридор. Как хорошо, что кабинет в конце, тут никто не ходит, все сейчас в холле – сдают куртки в раздевалку и переобуваются. Как в кабинете получилось не расплескать две огромных, во весь мир, тяжелых капли – непонятно, да только в коридоре они вмиг теряют форму и льются двумя раздольными ручьями, по щекам и подбородку, на

воротничок блузки и под него. Туалет совсем рядом с кабинетом, он для учителей, но сейчас там вроде бы никого не видно, и надо зайти, присесть на корточки рядом с унитазами и выпустить хрипящим потоком рвущуюся горечь, от судорог задирая лицо кверху. А когда выйдет все, оставив мучительную боль в горле и груди и тонну соплей в носу, вытереть лицо подолом, чтобы было не так заметно, что плакала.

А еще – принять решение.

*А в небе голубом горит одна звезда;
Она твоя, о ангел мой, она твоя всегда.
Кто любит, тот любим, кто светел, тот и свят;
Пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад.*

*Тебя там встретит огнегривый лев,
И синий вол, исполненный очей;
С ними золотой орел небесный,
Чей так светел взор незабываемый...*

Слезы делают голос тонким и прерывистым, но в нем звенит что-то, что не могло прозвенеть тогда днем по дороге в школу. Песня заканчивается и гаснет в сыром воздухе туалета.

* * *

Из туалета Женя выйдет решительно, догонит Русю, идущего по направлению к классу. Тот посмотрит с недоумением, но она быстро начнет говорить что-то про уроки, словно не было ничего – ни провалившегося рассказа, ни слез, ни учительского туалета. Заговорив Русе зубы, Женя оглянется назад, где Тимур некоторое время все еще будет идти следом и смотреть исподлобья, но потом она моргнет, и Тимур исчезнет. Он больше не будет сидеть рядом на уроках, когда нет соседки по парте, а по вечерам – на краю кровати, не будет спать ночами на диване напротив. В коридоре Женя с Русей встретят Таню и Галю, подождут их из раздевалки и вместе пойдут в класс. Будут плаксиво жаловаться друг другу, что первым уроком математика, а Галя еще добавит, что новые туфли трут ногу. Потом, присев на корточки рядом с батареей, обсудят вчерашнюю серию «Покемонов», и Руся, спохватившись, достанет из портфеля новую фишку – хвастаться. А когда прозвенит звонок, рванут в класс, каждый на свое место, и нужно будет быстро-быстро успеть достать все из портфеля, пока не зашла учительница.

Назавтра папа привезет заветный дневник, а в придачу – набор фишек.